

ЧИЧИКОВ – ДИТЯ

ЮЛИЯ ВИЛЬЧАНСКАЯ (ЧЕРНИГОВЦЫ)

Рассматриваются рецептивные ресурсы произведения Н. Гоголя „Мёртвые души“. Осуществляется имплицитное прочтение текста сквозь парадигму „отцы и дети“ и анализ закономерных этапов взросления главного героя.

Ключевые слова: дитя, рецепция, „зерно“, „плод познания“.

The receptive resources of the Gogol's literary work „The Dead Souls“ are considered. The implicit text interpretation through the „parents and children“ paradigm is carried out, the analysis of the naturally determined development stages of the main character is made.

Key words: child, reception, „grain“, fruit of „cognition“.

Любой текст воспринимается нами как композиционный конструкт, прочесть текст – значит выявить его конструктивную природу. В данном случае особое значение представляет перспектива идеи „открытого произведения“ У. Эко, представленной им ещё в 1965 г. в монографии „L'oeuvre ouverte“ (Открытое произведение). Тут, в частности, исследователь подчёркивает роль интерпретации как составляющей *генеративного* письма: „Форма произведения искусства обретает эстетическую обоснованность прямо пропорционально количеству разных перспектив, с которых на это произведение можно посмотреть и его понять“¹. Именно в процессе реализации связи читателя с текстом совершается акт подбора „интерпретационного ключа“² для допустимого варианта прочтения.

В контексте современной науки можно говорить об „открытом тексте“, учитывая также и аспекты рецептивной поэтики. В частности, руководст-

¹ ЕКО, У.: Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Пер. з англ. Мар'яна Гірняк. Львів: Літопис, 2004. с. 83.

² Там же, с. 85.

вуясь идеей имплицитации – внедрения в текст самого читателя как личности, позволяющей ему определить внутреннюю программу текста. Исходя из такой методологической возможности, обратимся к классическому тексту Н. В. Гоголя „Мёртвые души“, сосредоточившись на образе главного героя Павла Ивановича Чичикова.

В большинстве случаев мы раскрываем текст, структурируя его в определённых тематических уровнях, однако ресурсы текста как такового остаются всё-таки не до конца исчерпанными. Поэтому исследователю всегда полезно суживать „оптику“ до определённо взятых по отдельности феноменов, как-то: персонаж, композиция, лексический уровень текста и т. п. В частности, речь идёт о центральном персонаже. Гоголь подчёркивает особую важность аналитического восприятия личности Чичикова: „Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне её того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радёшеньки и приняли бы его за интереснейшего человека“³. Писатель, таким образом, направляет рецепцию на выяснение значимости реального потенциала своего героя. Он подчёркивает, что этот образ не должен ограничиваться общепринятым подходом к его изучению, так как слишком много того, „что ускользает и прячется от света“.

Определяя любую функцию текста, сегодня мы определяем его как информационное послание. Так, в одном из исследований, посвящённых роли рецептивной поэтики, О. В. Червинская, обращаясь к тексту Пушкина „Евгений Онегин“, подвергает „ревизии“ образ Ольги Лариной – „пушкинского персонажа с тяжелой *рецептивной* судьбой“⁴. Раскрывая образ этой героини с помощью образно-сюжетных взаимосвязей и индивидуального рецептивного опыта, автор подбирает *ключи* к его прочтению и обнаруживает его особую, „криптографическую“ функцию в сюжетике „Евгения Онегина“. Отталкиваясь от методики Ю. Лотмана и его перечня противопоставлений между героями романа, исследовательница восстанавливает упущенную из виду цепь противостояний Ольги Лариной (их 7)⁵. Причем именно этот аспект раскрывает внутренний, потаённый рецептивный потенциал текста

³ ГОГОЛЬ, Н. В.: Мёртвые души. Сочинения. В 7-ми томах. Т. 5. Ред. ОПУЛЬСКАЯ, Л. Д.: Москва: Правда, 1984, с. 244.

⁴ ЧЕРВИНСКАЯ, О. В.: Пушкин, Набоков, Ахматова: метаморфизм русского лирического романа. Монография. Черновцы: Рута, 1999, с. 60.

⁵ Там же, с. 73.

и непосредственно авторский замысел. Таким образом, произведение Пушкина обретает статус *метатекста*⁶.

Пушкин был идейным вдохновителем Гоголя и, впоследствии, первым слушателем начальных глав „Мёртвых душ“. Прочитанное, как известно, его впечатлило: „Боже, как грустна наша Россия!“⁷. Поэт определил свои рецептивные впечатления как „грусть“ или „скорбь“. Пушкин мог бы сказать: как в России ценят деньги или, предположим, как русский человек мелочен и смешон, но именно „грусть“ Пушкин определил как *имманентное* начало гоголевского образа „Руси“. Именно эта „грусть“ является изнанкой того, что называется „гоголевским смехом“.

В исследовании „Про „Шинель“ Гоголя“ Д.Чижевский некогда подчеркнул особую значимость идейной сущности писем Гоголя 1840-1842 годов: „В письме к Данилевскому (от 20-го июня 1843г.) Гоголь решительно противопоставляет внутреннюю жизнь внешней: нужно иметь „нерушимый якорь“, потому как всё в мире обречено на погибель, человеку необходимо иметь внутри себя *центр*, на который он сможет опереться в своих страданиях. Внешняя жизнь вне Бога, а внутренняя в Боге“⁸. В статье справедливо подчеркивалось, что для Гоголя таким центром является Бог. На примере „Петербургских повестей“ Чижевский выделяет присутствие внутренней/внешней биполярности в формировании гоголевских героев. Такого рода противостояние объясняется мировоззрением самого писателя. Проблема сакрального и профанного – основополагающая для творчества Гоголя, иными словами, она является своеобразной „матрицей“, сквозь структуру которой стоит рассматривать его тексты.

В данном случае уже сама по себе метафора заглавия представляет воплощение мировоззренческой позиции Гоголя – души мертвы по причине смещения и утраты главного (с точки зрения Гоголя)⁹ духовного Центра. В этом случае становится понятной рецепция „Мёртвых душ“ Пушкиным: грусть – свойство живой души, а герои Гоголя – обладатели душ мёртвых, не чувствующих, не скорбящих, духовно бесплодных¹⁰. Виной этому харак-

⁶ Там же, с. 111.

⁷ ГОГОЛЬ, Н. В.: Мёртвые души. Сочинения. В 7-ми томах. Т. 5. Ред. ОПУЛЬСКАЯ, Л. Д. Москва: Правда, 1984, с. 308.

⁸ ЧИЖЕВСЬКИЙ, Д. Про «Шинель» Гоголя. Сорочинський ярмарок на Невському проспекті: Українська рецепція Гоголя/Упоряд. В. Агеєва. Київ: Факт, 2003, с. 225-226.

⁹ Там же, с. 225.

¹⁰ МОЧУЛЬСКИЙ, К. В.: Гоголь. Соловьев. Достоевский.
<http://philos.omsk.edu/libery/index/m.htm>

тер и особенность жизненных связей, описанных в тексте: герой Чичиков изображен в привычной динамике человеческой жизни: от пелёнок и до времени событий в тексте. Поскольку история Чичикова-ребёнка рассказана автором в конце произведения (см. XI глава)¹¹, читатель в большинстве случаев если и останавливает на этом своё внимание, то делает это достаточно поверхностно, воспринимая последнюю главу как логическое завершение более захватывающей истории денежной аферы и, таким образом, упрощая образ.

Образ „ребёнка“, как феноменологическая проблема, в современном литературоведении достаточно разработан. Онтологическая основа исследуемого концепта и прочтение образа ребёнка как вектора антропологической проблематики в раскрытии этой темы играет важную роль. Например, феномен ребёнка в творчестве Ф. Достоевского конструктивно рассматривается через библейскую парадигму „зерна“¹², в частности, исследуется, „где заканчивается ребёнок и начинается взрослый“¹³. С точки зрения исследователей проблемы, метафора „зерна“ раскрывает не только суть Ф. Достоевского, виденья им феномена „ребёнка“, но и сквозь это – некоей формулы действительности артикулированной классиком, в целом, культурной традиции всей нации¹⁴: „Дети являются той пшеницей, зерном, которое обречено на то, чтобы пройти свой человеческий путь через гноение, страдание, обиды, слёзы, отрицание своей детской личности соответственно природе своего сердца, таинственно вызревая в новую личность, которая может дать новый плод“¹⁵. Прочтение образа сквозь парадигму „зерна“ включает в себе глубокий онтологический замысел. Переживая этапы взросления, ребёнок переживает свои первые испытания, которые завершаются „вкушением плода познания“. Противоречия создают надлежащие условия для „произрастания зерна“¹⁶. В таком случае, библейская парадигма зерна может выступать символом зреющей души¹⁷, её первых стадий разви-

¹¹ ГОГОЛЬ, Н. В.: Мёртвые души. Сочинения. В 7-ми томах. Т. 5./ Ред. ОПУЛЬСКАЯ, Л. Д. Москва: Правда, 1984, с. 216-249.

¹² ЧЕРВИНСЬКА, О. В., ДЗИК, Р.А.: Діалог з учнем: Онтологічний сенс феномену дитини за Достоевським. Іноземна філологія. 2007, Вип. 119(2). с. 164.

¹³ Там же, с. 160.

¹⁴ Там же, с. 164.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же, с. 165.

тия и формирования. Таким образом, „детство“ становится „интерпретационным ключом“ при прочтении героя. Мы также можем воспользоваться таким ключом. В случае прочтения героя Чичикова наблюдается следующее. Чичиков – личность, сформированная в условиях замены „Центра“: вместо духовности, как онтологической основы гармоничного сознания, наш герой получил от отца чёткое психологическое наставление, направленное на постижение им иных истин: „...больше всего береги и копи копейку: эта вещь надёжнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был“¹⁸. Эти слова стали внутренней программой гоголевского героя, но они не являются ответом на вопрос, как Павлуша превратился в Павла Ивановича Чичикова. Известна рецепция В. В. Набокова, отождествившая главного героя с его же известной вещевой шкатулкой, классик XX столетия структурирует многоплановость образа Чичикова, но обходит, однако, его онтологическую глубину в аспекте значимости темы детства героя¹⁹.

Поначалу Чичиков-дитя не производит особого впечатления на читателя: „вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, и вечная пропись пред глазами: „не лги, послушествоуй старшим и носи добродетель в сердце“²⁰. Отношения с отцом фактически представлены одним эпизодом сухого прощания: „При расставании слёз не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомство и, что гораздо важнее, умное наставление: „...Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой“. Это было последнее отцовское наставление, так как больше отец и сын не виделись.

Так, знаком плода познания для Павлуши стал образ „копейки, её преумножение и накопление, сыграли главную роль в процессе „произрастания“ Чичикова, и это был своего рода „спасательный круг“, брошенный ему на прощание его отцом. Копейка, её преумножение и накопление, сыграли главную роль в процессе „произрастания“ Чичикова, отцом. Преемственность – понятие, определяющее отношения отца и сына. В данном случае эта связь реализовала себя исключительно на уровне материальной „цены“. В школе Павлуша с твёрдостью лишает себя детских радостей и удоволь-

¹⁸ ГОГОЛЬ Н. В.: Мёртвые души. Сочинения. В 7-ми томах. Т. 5. Ред. ОПУЛЬСКАЯ, Л. Д. Москва: Правда, 1984, с. 226.

¹⁹ НАБОКОВ, В. В.: Наш господин Чичиков. Лекции по Русской литературе. <http://lib.rus.ec/b/161746/read>

²⁰ ГОГОЛЬ, Н. В.: Мёртвые души. Сочинения. В 7-ми томах. Т. 5. Ред. ОПУЛЬСКАЯ, Л. Д. Москва: Правда, 1984, с. 224.

ствий, „ребёнком он умел отказать себе во всём“²¹, но не с целью следовать твёрдой добродетели, а ради коммерческой выгоды. Важное христианское наставление отца о добродетели в сердце, послушании и честности не производит на Павлушу необходимого впечатления. Так, Истина не находит своего места в жизни главного героя. Происходит подмена взаимоисключающих идеалов христианской добродетели на корысть. Критерий выгоды/невыгоды необратимо превращает ребёнка в расчётливого дельца.

Значимым является и то, что тема отцовства последовательно будоражит самого Павла Ивановича. Будучи уже взрослым человеком, Чичиков мечтает о собственном потомстве, и главное его волнение выражается мыслью: „Что скажут дети? Вот, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния“²². Несомненно, что такой вывод он сделал, руководствуясь личным опытом отношений с отцом. Суровое, безрадостное детство и отсутствие в нём опыта родительской любви выродились в опыт, освящаемый богатством: он артикулирует хорошего родителя, как богатого.

В данном тексте наследство выступает той значимой ценностной мерой, сквозь которую могут быть рассмотрены, к примеру, Плюшкин и его дочь, Манилов и сыновья, а также остальные герои текста. Плюшкин видит своих детей исключительно в ракурсе вымогателей, посягающих на его капитал. Проигравшемуся в карты сыну он посылает проклятье. Отсюда к дочери своей Александре Степановне и внукам относится он крайне настороженно. Можно предположить, что после холодного отцовского приёма дочь Плюшкина вновь приедет в родовое гнездо, только когда получит известие о кончине батюшки. Страсть накопления и подозрительность делают Плюшкина „осиротевшим“. Как следствие убогости страсти накопления, у Коробочки и вовсе нет детей. То есть эгоистическое сребролюбие этой помещицы можно прочитывать как причину её бесплодия.

Воспитание детей Маниловым, гармонически сочетается в своей нелепости с вышиванием бисером сюрпризов (чехольчик для зубочистки) его супругой. Сами по себе имена детей: Фемистоклос и Алкид – вызывают у читателя и самого Чичикова недоумение. Но оказывается, что перед ним не просто барские дети, а будущие посланники: „Вот меньшей, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, казявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обра-

²¹ Там же, с. 226.

²² ГОГОЛЬ, Н. В.: Мёртвые души. Сочинения в 7-ми томах. Т. 5. Ред. ОПУЛЬСКАЯ, Л. Д. Москва: Правда, 1984. с. 240.

тит внимание. Я его прочу по дипломатической линии²³. Вероятнее всего, что эти планы со временем превратятся в такие же нереализованные Маниловские „проекты“, как мечты о бессмысленном подземном ходе от дома и каменном мосте через пруд.

Таким образом, анализируя отношения персонажей в указанных сюжетно-тематических связях, мы успешнее прочитываем авторский текст в ракурсе интерпретации проблематики – „отцы и дети“. Богословские интерпретаторы литературной классики также указывают на эту дихотомию. К примеру, М. М. Дунаев обращает внимание на особую роль образа отца в данном тексте, хотя и с иных позиций, переводя тему в план социальной парадигмы: „Автор специально настаивает на необходимости для помещика быть истинным отцом для крестьян, вверенных его заботам“²⁴. В нашем случае связь „отца и сына“ берётся в ином ракурсе.

Сам герой все свои поступки мотивирует потребностями своей будущей семьи и потомства. В „Мёртвых душах“ ключевая дихотомия „отцы–дети“ (или „дочки–матери“) имеет несколько уровней. К примеру, узнав о новоиспеченном „миллионщике“, все матери города N, имеющие дочек на выданье, поспешили на губернаторский бал: „Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица. ...– Вы не знаете ещё моей дочери? – сказала губернаторша, – институтка, только что выпущена“²⁵. Так же, как для Чичикова копейка стала „плодом познания“, так и для юных дочерей таким для них приготовленным „плодом“ должен стать „миллионщик“. Копейка в данном случае является знаком, той конечной жизненной ценностью, на формирование которой направлен диалог отцов и детей, одновременно она оказывается важным условием продолжения бытия.

Как известно, все проблемные узлы текста, в том числе и интересующие нас, связываются и взаимопересекаются в конструкте „Бал“. На балу у губернатора высвечивается двуплановость образа главного героя: Чичиков – стяжатель мёртвых душ и Чичиков – потенциальный жених (Гоголь впервые использовал подобный двойной вектор в „Ревизоре“: Хлестаков – мнимый чиновник и одновременно мнимый жених). Именно здесь для Пав-

²³ Там же, с. 29.

²⁴ ДУНАЕВ, М. М.: Николай Васильевич Гоголь. Вера в горниле сомнений. http://palomnic.org/bibl_lit/bibl/dunaev/7/

²⁵ ГОГОЛЬ, Н. В.: Мёртвые души. Сочинения. В 7-ми томах. Т. 5. Ред. ОПУЛЬСКАЯ, Л. Д. Москва: Правда, 1984, с. 166.

ла Ивановича Чичикова наступил „звёздный час“. Наметилось то, ради чего он с детства мужественно терпел всяческие лишения: как будто опять (как когда-то на таможне) пришёл успех и долгожданное богатство. Вполне вероятно, что в этот момент Чичиков, вспомнив слова отца о значимости копеечки, с гордостью решил непременно передать это полезное наставление и своим детям. Если бы не шальное поведение Ноздрёва в тот вечер, мечта Чичикова о „потомстве“ приблизилась бы к своему воплощению. Но законы бала сработали не на пользу нашего героя. В тексте Гоголя бал – своего рода обличение: первоначальная иллюзия успеха под конец трансформировалась в фарс, достигнув своей наивысшей точки, когда всё в одночасье возвращается на „круги своя“. Отсюда Бал также может быть интерпретирован как внутренняя пружина образа Чичикова, подобное публичное обличение, как известно читателю не впервые случается в его жизни. Автор подробно рассказывает о ряде неприятных вех-происшествий в биографии Павла Ивановича: история с учителем, временная дружба со старым понытчиком и, наконец, скандал на должности таможенного чиновника (см. главу XI)²⁶. Вновь „переваривая“ очередную неудавшуюся аферу, Чичиков терзается некоторыми сомнениями: „Нет, право... после всякого бала, точно как будто, какой грех сделал; и вспоминать даже о нём не хочется“²⁷. Прозвучавшее не случайно здесь слово „грех“ уводит читателя в иную перспективу, показывая, что не так просто вычленишь и растолковать комплекс мотиваций, которые позволяют нам рецептировать текст адекватно авторскому замыслу.

В целом, происходящее с главным героем обнаруживает и укладывается в рамки единой сакральной мотивации: это испытание „зерна“ в процессе его последовательных превращений. Гоголь даёт право читателю сделать вывод, что каждый житейский путь также является особым и закономерным. Понимание психологии, сопровождающей этапы взросления человека, является, очевидно, потенциальным условием прочтения данного текста. Таким образом, в перспективе всего лишь одного из допустимых рецептивных векторов мы обнаруживаем закономерность „целого“, хотя и не исчерпываем его.

²⁶ Там же, с. 229-239.

²⁷ Там же, с. 174.